

Б. И. БУРСОВ

К СПОРАМ О ДОСТОЕВСКОМ

Советская наука о Достоевском имеет ряд достижений. Но в ней, к сожалению, на мой взгляд, зачастую мало споров, творческих дискуссий. Подчас учеными, особенно молодыми, варьируются, в сущности, одни и те же положения, прежде всего такие: Достоевский принадлежит «большому времени», творчество Достоевского представляет собой совершенно новый этап в развитии всемирной литературы после Данте и Рабле, будто между ними и им был какой-то застой в мировом литературном процессе. Откровенно скажу: эти утверждения меня несколько озадачивают, пожалуй, даже настораживают. Я постараюсь высказать свою точку зрения.

Начну с понятия о «большом времени». Что оно означает? И зачем требуется нам? Ведь сколько существует искусство, столько пишут о неувядаемости художественных шедевров. Разве не писали об этом Маркс и Энгельс, в частности когда касались проблем древнегреческого искусства? Разве не присутствует сходная мысль в статье Гете «Шекспир и несть ему конца»? Разве не приходят на память нам изумительные, проникающие в душу слова Пушкина о вечной молодости поэзии в сравнении с великими научными открытиями? Можно было бы без труда назвать десятки работ о «жизни в веках» Гомера или Данте, Шекспира или Сервантеса.

Я задаю вопрос: чем же хуже «века» или «столетия» так называемого «большого времени»? Кому и зачем потребовалось оно? Какие бы там ни были намерения его авторов, на деле получилось, что они прибегают к произвольному размежеванию гениев на немногих избранных и остальную массу неизбранных. Среди великих русских писателей к «большому времени» отнесен один лишь Достоевский, а вот Пушкин, Гоголь и Лев Толстой не удостоены этой чести. Предпочтение, оказанное Достоевскому, в действительности наносит ущерб толкованию его творчества, так как отрывает его от русской национальной традиции. Воображаю, как бы отнесся он к своим толкователям, произведшим над ним такую вивисекцию.

Понятие о «большом времени» ввел у нас наш ныне знаменитый литературовед М. М. Бахтин. Разделяя общее мнение о его выдающемся таланте и редчайшей эрудиции, я не раз выражал несогласие с некоторыми его теоретическими построениями,

в особенности с тезисом о полифоничности романов Достоевского. Я убеждал, что полифоничен вообще всякий реалистический роман, но на свой лад. Другое дело, что Бахтин дал блистательный анализ поэтики романов Достоевского. В этом и заключается огромная ценность его книги о Достоевском. Она была четырежды издана у нас; лично я предпочитаю первое издание, когда книга называлась «Проблемы творчества Достоевского».

Оговорюсь: я здесь спору не с Бахтиным, а с его адептами, упростившими и огрубившими сложные ходы мысли своего мэтра. Я даже скажу, что они допускают некоторую неразборчивость в средствах во имя доказательства справедливости своих весьма спорных концепций.

Полифонизм, примененный к одному только Достоевскому, сказал я, отрывает Достоевского от русской национальной традиции. Добавляю: более того, Достоевский оказывается противопоставленным ей. В результате бросается на нее какая-то тень, как на недостаточно полноценную, поскольку она не овладела «моделью мира», выработанной Достоевским. Между тем с каким уважением писал Достоевский о своих великих современниках, которых считал, как и самого себя, принадлежащими к плеяде наследников и продолжателей Пушкина!

Бахтин не заявлял по крайней мере, что поскольку Достоевский числится по штату «большого времени», выходящему за всякие национальные рамки, то и не содержит в себе каких-либо специфических признаков русского национального писателя. Нынешние его адепты покушаются вообще на отрицание национального своеобразия всякой национальной литературы, в том числе, разумеется, русской.

Кто из нас не помнит знаменитого изречения, принадлежащего, уж не знаю, какому «большому времени»: *все мы расточаем достояние отцов наших*. Но вот что странно: сколько бы ни расточали, оно существует, что называется, как ни крути. Страдают только расточители от своего расточительства, обедняя себя.

Пушкин возмущался, когда Ломоносова называли русским Бэконом, он говорил: не достаточно ли того, что он есть русский Ломоносов. Можно представить, как его коробило, когда его самого называли северным Байроном. Рассуждая о Пушкине как о поэте, не имеющем себе равного в мировой литературе, Гоголь говорил о нем как о чрезвычайном явлении русского духа. Для Достоевского Пушкин, как воплощение всемирности и всечеловечности, предстает перед нами носителем именно «русской мысли». Толстой, имея в виду всех русских романистов, от Пушкина и Гоголя до Достоевского и самого себя, утверждал, что они не умеют писать романов в том смысле, как понимают этот род сочинений на Западе. И это он утверждал не где-либо, а в предисловии к «Войне и миру», величайшему роману во всей всемирной литературе. Иначе сказать, Толстой решительно настаивал на принципиальном отличии русского романа от западноевропейского, возводя это отличие к глубочайшему своеобразию рус-

ской мысли. Лишь как таковая она представляет собою вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры.

У нас весьма популярна тема о мировом значении русской литературы. Взять хотя бы книги Т. Л. Мотылевой «О мировом значении Толстого» и Г. М. Фридлендера «Достоевский и мировая литература». Запад, разумеется, интересуется нашими толкованиями всемирного значения русской литературы. Но у него на этот счет своя точка зрения. Я в этом особенно убедился, беседуя о Достоевском с Джоном Чивером и Альберто Моравиа. Очень запомнился мне разговор с Моравиа. Для него Достоевский — преимущественно общечеловеческий, а Толстой — главным образом русский национальный писатель. Я же утверждал и утверждаю, что общечеловеческое значение того и другого определяется тем, насколько глубоко и своеобразно в творчестве каждого поставлены русские национальные проблемы.

Поучительна полемика по некоторым проблемам между нами и западными исследователями русской литературы на международном симпозиуме, посвященном 150-летию со дня рождения Толстого, проходившем в Венеции в сентябре 1978 г. Нам говорили: если Толстой — зеркало русской революции, то и Достоевский тоже, потому что оба они, дескать, гениально изображали одну и ту же эпоху, уловили в ней признаки назревавшего революционного переворота. Наши западные коллеги упускали из виду, что, говоря о Толстом как зеркале русской революции, Ленин имел в виду крестьянскую революцию, которая была призвана разрешить крестьянский вопрос. Толстой сам называл себя адвокатом 100-миллионного русского крестьянства. Для Достоевского же крестьянская проблема отнюдь не была главной.

Каждый гениальный писатель гениален на свой лад. Следовательно, для каждого из них должна быть своя мерка. Для Толстого одна, для Достоевского другая.

А как отличаются герои одного из них от героев другого: Раскольников от Андрея Болконского или Пьера Безухова, Версиков от Левина! Герой Толстого говорит: я виноват перед всем миром и потому считаю необходимым заниматься самосовершенствованием. Это понятно: как помещик, он осознает свою вину перед крестьянством, а тем самым и перед всем миром. Герой Достоевского, напротив, считает, что весь мир виноват перед ним, сломав его судьбу, сделав его несчастным. Вспомните того же Раскольникова или Аркадия Долгорукого («Подросток»). Он жаждет не самосовершенствования, а самоутверждения. Достоевский сам сформулировал, в чем, по его мнению, его главное художественное открытие: он открыл «подпольного человека». Не принимая во внимание этой самооценки Достоевского, забывая о ней, даже отодвигая ее в сторону, нам не разобраться в национальном и общечеловеческом значении его творчества. Что же такое «подпольный человек»? Он загнан в угол. На весь мир смотрит из своего угла. В мире ему видится прежде всего враждебность по отношению к человеку. Если так, то вина за это не на

ком-либо другом, а на самом же человеке, на людях вообще. Герой «Записок из подполья» винит всех других за то, что они мешают ему делать добро. Потому вместо добра он делает зло. Вот откуда вообще у героев Достоевского тяга к злу, и они тем больше к нему тянутся, чем больше мечтают о добре, о «золотом веке». Отсюда ход к реализму Достоевского, по его собственному определению, одновременно и «фантастическому» и «в высшем смысле». Я бы назвал его еще полемическим реализмом. Толстой утверждал искомые истины прямо и непосредственно, потому что в каждый период своего развития у него была своя собственная программа, в которую он беспредельно верил, хотя бы только в течение этого периода. Достоевский столько же верил в то, к чему стремился, сколько и сомневался в этом, а по этой причине находился в постоянном споре с самим собой, но, разумеется, в неизмеримо большей степени со всеми другими — с Тургеневым, с Чернышевским, да и с Толстым, которого ставил выше всех из своих современников.

Одна из решающих отличительных черт Достоевского, таким образом, — непрестанная борьба между верой в человека и мир и сомнением в человеке и мире. Отсюда — размах творчества Достоевского, постановка им проблем столь мучительных для него, для всех нас, не только русских, а людей всей нашей земли, на материале всемирной истории, с неизменным отпращиванием от современного ему состояния русской действительности.

Каждый из наших великих писателей является русским из русских. Только потому и только в этом повороте и общечеловеческим. Так пишет Достоевский о Пушкине, так же — и о Толстом. Замечателен его анализ «Анны Карениной». Он гордо заявляет, что в европейских литературах нет ничего равного этому толстовскому роману. Пожалуй, главным достоинством его он считает подход Толстого к общественно-историческому процессу с нравственной точки зрения. Пишет о Толстом как принадлежащем «плеяде» наследников Пушкина, о том, что Толстой сказал больше всего своего после Пушкина.

В Пушкине Достоевский особенно дорожил идеей всечеловечности и всемирности, проникающей его творчество, способностью Пушкина, как он говорил, ко «всеотклику». Это же есть в самом Достоевском. Но идея всемирности и всечеловечности, пронзающая все романы Достоевского, уже другого качества. Она полна беспокойства, тревоги за дальнейшие судьбы мира. Достоевский более склонен представлять человечество и человека в неприглядном и неблагоприятном виде. В его романах звучит и нота отчаяния, совершенно чуждая Пушкину. Потому Достоевскому так необходим был Пушкин. Но, с другой стороны, потому Достоевский так и созвучен современному миру.

Выходит, чтобы правильно понять Достоевского как этап в национальном и всемирном литературном развитии, надо отнести его и с его предшественниками, прежде всего с Пушкиным и Гоголем, и с его современниками, т. е. с Толстым, Тургене-

вым, Чернышевским и так далее. Иначе будет перекося. Пушкин и после Достоевского остался недостижимым художественным образцом, а Толстой и рядом с Достоевским внес не меньший, чем он, вклад в художественное развитие человечества.

Мы говорим о мировом значении Достоевского, как и всякого другого великого нашего писателя, учитывая всю сложность его положения прежде всего в рамках национального литературного процесса, а потом уже и всемирного. Это необходимо для всесторонней и объективной оценки его литературного наследия. Убежден, в подобных случаях решающее слово за нами. Но, поскольку великий национальный писатель делается достоянием всей человеческой культуры, другие народы также приобретают право выносить свои суждения о нем. Они, как правило, в чем-то неизменно будут расходиться с нашими. И в двух смыслах. Во-первых, так как Достоевский и Толстой стали общечеловеческими писателями, оказывающими влияние на литературы разных народов, то эти народы, не обладая нашей полнотой знания их и проникновения в них, тем не менее откроют в каждом нечто такое, что не было уловлено и замечено нами. С другой стороны, подходя к этим писателям под углом зрения развития своих собственных национальных культур, зарубежные исследователи могут навязывать неприсущие им свойства, ставить на место главного менее существенное и т. д. Например, не раз писалось об одностороннем понимании Андре Жидом Достоевского. По-моему, есть односторонность и в суждениях Томаса Манна о Толстом или Достоевском.

Мы и сами по-разному пишем о Достоевском. Спорим, порой ожесточенно, друг с другом. Я не вижу в этом ничего плохого. Но как бы мы ни расходились в понимании Достоевского, он для всех нас — колоссальное явление прежде всего нашей национальной культуры, несущее в себе решающие признаки исканий национального духа.

Восприятие за рубежом русской литературы, как входящей составной частью в мировую литературу, не является адекватным нашему. О том же Достоевском зарубежные исследователи пишут преимущественно, а то и только как о литературном явлении. Для них он лишь в малой степени заземлен в русской национальной почве. Их интересует в первую очередь поэтика Достоевского как таковая, а структура духовного содержания его романов ставится от нее в зависимость. Что же касается современной литературы западных народов, она тянется к Достоевскому нередко более, чем к какому-либо другому великому писателю прошлого, но все-таки часто видит в нем поэта распада, искривления, извращения человеческого ума и души. Об этом говорит с достаточной убедительностью и наглядностью уже и опыт Томаса Манна, а ведь Томас Манн сам великий писатель. Однако уже тронутый декадансом. Это можно найти также у Стейнбека, у Грэхема Грина, даже, по-моему, и у Апдайка.

Но, возможно, я вторгаюсь в чужой огород, а потому ставлю точку.